

ГРАНИ

GRANY

39

1958

Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1.7.1958

ГРАИИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XIII

39

Июль - Сентябрь 1958 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ЖОРЖ БЕРНАОС — Записки сельского священника 3

ПОЭЗИЯ

Стихи из России. П. ВОСТОКОВ — Из пережитого.

Вместо вступления — Ник. Оцуп 83

Поэты русского зарубежья — Лидия Алексеева, Сергей Маковский,
Михаил Дараганов, Сергей Рафальский 92

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

ЛЕВ ДУВИНГ — Великая скорбь (Из третьей части) 100

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. ЛИТВИНОВ — Соблазн отчаяния 128

Ю. ТЕРАПИАНО — «Смотр» 134

НИКОЛАЙ ЕЛЕНЕВ — Кем была Марина Цветаева? 141

ИСКУССТВО

Н. ЕВРЕИНОВ — Живопись и театр 160

НАУКА И ТЕХНИКА

А. ИВАНОВ — Дворец науки — символ международного
сотрудничества 173

ПУБЛИЦИСТИКА

СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ — Апостол современного рационализма 179

Проф. Н. ЛОССКИЙ — Украинский и белорусский сепаратизм 188

† К. ФЕДОРОВ (К. Штепа) — «Сталинизм» и «хрущевизм» 198

БИБЛИОГРАФИЯ

Александра Мазурова. Тристан и Исольда. — Вл. Арсеньев. О незамеченном
поколении. — Екатерина Таубер. Буйство глаз. — М. Шведова. Две книги
Тибора Дери. — К. Фотиев. О подвиге веры. — Н. Тарасова. Возвращение
в Дом. 212

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы за июль—сентябрь 1958 г. 231

Обращение российского антикоммунистического издательства «Посев»
к деятелям литературы, искусства и науки порабощенной России 236

Н. АНАТОЛЬЕВА — Между двумя съездами I

Ю. Терапиано

«СМОТР»*)

(Из моего литературного архива)

В начале 1938 года Зинаида Гиппиус затеяла особое литературное начинание: «опыт свободы» — серию сборников, не зависящих ни от каких литературных или политических группировок.

Выбор участников для первого сборника она тоже окружила некоторой таинственностью.

«Во избежание обид (но, конечно, они будут), я держу точный список приглашенных про себя», — пишет она мне 16 февраля 1938 года, посылая «билет» для участия в сборнике.

«Каждый о нем, очевидно, догадывается, но только догадывается, а потому я ему и не рекомендую со «всеми» говорить о полученном «билете» на данное представление.

Другое дело принципиальная записка о нем: ее должны знать именно все и ждать, чем кончится этот «опыт свободы».

Дело, конечно, ответственное; я не сомневаюсь, что тут каждый покажет себя в своем самом ему дорогом и важном».

К письму был приложен «билет» и отпечатанная на пишущей машинке «инструкция», на левой стороне которой, сбоку, рукой Гиппиус, крупными буквами: «Опыт свободы».

— «ТОТ, КОМУ ПРЕДЛОЖЕНО УЧАСТВОВАТЬ В СБОРНИКЕ «СМОТР» — дает материал, свободно избирая как содержание, так и форму (стихи, беллетристика, воспоминания, статьи литературные, критические, политические, философские и др.) — в пределах $\frac{1}{2}$ или 1 печ. листа.

Редактор печатает материал в том виде, в каком его получает. Советов не дает (если автор их не спрашивает). Поправки могут быть сделаны только автором.

Так как предполагается, что каждый автор, блюя собственные интересы, сам находит меру ограничения своей свободы, то лишь в особо исключительном случае, при обстоятельствах, от редактора не зависящих, последний может попросить автора взять свое произведение обратно.

Доставленный материал никому, до напечатания, редактором не сообщается, но, конечно, сам автор свободен это делать, при желании.

Если издание окупится и даст некий излишек (что во многих отношениях

*) Литературный смотр. Свободный сборник. Редакторы: З. Гиппиус и Д. Мережковский. Париж 1939.

ях зависит от авторов) этот излишок, смотря по общему решению, или делится между участниками поровну (кроме редактора), или сохраняется, как фонд, для издания следующего номера Сборника».

*

Вполне естественно, разговоров о задуманном З. Гиппиус «опыте свободы» было много — не только среди получивших «билет», но и на всем «Монпарнассе» (хранить тайну были способны не многие!), однако, как это часто бывает, неожиданная возможность высказать «свое самое заветное» смущала многих.

В течение ряда лет писатели всех литературных поколений, и «старшего» и «младшего», привыкли жаловаться на редакторскую цензуру, на невозможность высказать полностью свое «то, что думаю», без отглядки на целый ряд условностей и т. д.

Когда же «свобода» вдруг далась им в руки, дело оказалось не столь легким.

— О чем писать?

— Дать просто какое-нибудь свое произведение, из числа тех, которые «не подошли» по каким-нибудь причинам «обыкновенным» редакциям? — но для подлинного «опыта свободы» этого как будто мало?

Не менее соблазнительна была возможность высказаться о некоторых литературных явлениях «без цензуры», поднять, например, вопрос о положении зарубежных писателей именно с точки зрения свободы, указать на ряд недостатков журналов и газет, поколебать чей-нибудь литературный треножник, — но вся эта злоба дня для «Смотра» явно не годилась, явились бы снижением темы.

Оставались метафизика и философия современных событий — постоянные темы воскресных собраний у Мережковских.

О метафизике, кстати сказать, в то время действительно было трудно где-нибудь говорить, такие статьи «обыкновенными» редакциями принимались весьма неохотно.

Левая пресса, настроенная позитивно и скептически в отношении «всякой мистики» и «суеверий», естественно, для метафизиков была «чужой», а правая — придерживалась в вопросах духовных церковно-ортодоксальной точки зрения и никаких «еретических рассуждений» не допускала.

В специальные же издания, как, например, религиозно-философский журнал «Путь», литераторов — и «старших» и «младших» одинаково не допускали.

Этим обстоятельством объясняется то, что сам Мережковский, несмотря на свое положение в русской и иностранной тогдашней литературе, лишь с большими усилиями мог печатать произведения последнего периода своего творчества, сплошь посвященные как раз метафизическим вопросам.

Недаром Зинаида Гиппиус, в конце своего предисловия к «Смотру», называет этот сборник «салоном отверженных»:

«Этим объясняется участие в нем двух писателей «старшего» поколения: один, несмотря на то, что книги его переводятся почти на все существующие языки, вплоть до японского, и даже эсперанто, такой же «отверженный» для русской эмигрантской печати, как и молодые его соседи по книге; так же, как они, он не имеет возможности печататься ни в одном парижском журнале, ни газете».

*

Если память мне не изменяет, Зинаида Гиппиус одна из первых выполнила «заказ», написав для «Смотра» вступительную статью «Опыт свободы».

Впрочем, в то лето у нее было много свободного времени.

Материальные дела Мережковских были не в блестящем состоянии, им не удалось даже уехать на отдых на юг, они должны были проводить лето в Париже.

В начале своего письма от 4 июля 1938 года, Зинаида Николаевна пишет с иронической горечью:

... «Наши обстоятельства так «съузились», что мы никуда не можем двинуться, (хуже последней кухарки); принуждены сидеть в Париже.

Воскресенья опустеют, но не закроются: всегда найдется кто-нибудь либо еще не уехавший, либо уже вернувшийся.

Я, по крайней мере, на это надеюсь.

Очень хочу прочесть вам предисловие к «Смотру».

Не знаю, не усилить ли резкость правды?

А м. б. не нужно».

В этом вступлении Зинаида Гиппиус, характеризуя «первый опыт свободы слова» в эмиграции, подводит итог довольно печальному состоянию зарубежной прессы в Париже в 1938 году:

«Русская пресса сжалась, изменилась и количественно и качественно. К половине 30-х годов у нас оказалась одна единственная газета (с ее собственным журналом), и один уцелевший, толстый журнал, выходящий раз в 3-4 месяца. Таким образом, возможность печататься (да еще свободно) для большинства «молодых» — отпала».

От «недостатка места» страдали преимущественно тогдашние «младшие» писатели, которым приходилось считаться с наличием не малого числа «старших», с которыми им было не под силу конкурировать.

Поэты, в виду почти полного отсутствия «старых стихотворцев», как говорит З. Гиппиус, принимались более охотно: — «Много места стихи не займут, вешь они всегда безобидная».

Нужно пожалеть, что «Смотр» стал теперь библиографической редкостью.

Современным читателям, особенно из числа «новой» эмиграции, было бы важно, например, прочесть и продумать «Опыт свободы», особенно те пассажи, где З. Гиппиус, с резкой беспощадностью и с большой точностью, говорит о свободе слова в эмиграции и в прежней России, а главное, — о мере этой свободы, о ее истинном значении.

«Пусть не говорят мне, что в России, мол, никогда не было свободы слова, а какой высоты достигла наша литература!

Нужно ли в сотый раз повторять, что дело не в абсолютной свободе (абсолюта вообще и нигде не может быть, ибо все относительно); мы говорим о той мере свободы, при которой возможна постоянная борьба за ее расширение.

Довоенная Россия такой мере во все времена отвечала: даже при Некрасове (его борьба с цензурой велась открыто и успешно); о годах нового века нечего и говорить ...

Но признаем: общая свобода в России прогрессировала медленно, и понятие ее медленно входило в душу русского человека.

Он, — не писатель только, а вообще русский человек, — не успел еще ей как следует выучиться, когда всякую школу захлопнули...»

Не менее ясно З. Гиппиус поставила «точку над i» в отношении условий жизни писателей «младшего поколения».

Писатели и поэты новой эмиграции, с самого начала оказавшиеся в атмосфере всеобщего внимания и, особенно, читатели из той же среды, вероятно даже не представляют себе, какой ценой покупали себе право на творчество «парижские

эстеты» (как думают они), собирающиеся в двадцатых и тридцатых годах на Монпарнасе.

«Когда бывший военный, офицер, делается шофером такси», — писала З. Гиппиус, — «это не так уж плохо: воевать и служить ему все равно негде, нет ни войны, ни русского полка. Но если молодой интеллигент, со склонностью к умственному труду и со способностями или талантом писателя убивает себя то на малярной работе, то делается коммивояжером по продаже рыбьего жира для свиней... — это дело как будто иное... Мне возразят, что и в старой России начинаящий писатель не мог жить литературой; и что некоторые из больших наших писателей терпели, в юности, жестокую нужду, — Некрасов, например.

Это возражение легко отвести уже потому, что русские в России — одно, а русские в чужой стране — совсем другое. Тогда, там, отдельные начинающие писатели могли гибнуть (и гибли, вероятно), но чтоб гибло целое литературное поколение, — об этом и мысли быть не могло».

*

Рукописи для «Смотра» поступали медленно.

И хотя все авторы, каждый по своему, были полны добродой воли, все же «Опыт свободы» получился не таким, каким его хотела бы видеть Зинаида Гиппиус.

В первом выпуске помещены произведения десяти авторов (одиннадцатой — сама З. Гиппиус):

Г. Адамович — О «самом важном».

В. Мамченко — Движение любви.

Ю. Фельзен — Перемены. Он же — Прописи.

Ю. Мандельштам — О любви.

Дион... — «Лошади едят сено».

Л. Кельберин — Начало.

Ю. Терапиано — Жизнь.

В. Зензинов — Генриэта.

Л. Червинская — В последнюю минуту. (В оглавлении, ошибочно: В. Червинская).

В. Злобин — Человек в наши дни.

Нужно заметить, что отрывок из романа Ю. Фельзена и «Генриэта» В. Зензинова (рассказ о единственной настоящей любви известного авантюриста Казановы) только с натяжкой могут быть названы «опытом свободы» — эти произведения, без всякого препятствия, могли быть помещены в любом тогдашнем журнале или в газете.

Сознавая, видимо, это, Фельзен и прислал еще дополнительную статью «Прописи», изображающую в несколько схематической форме положение эмигрантских писателей, работающих почти в полном одиночестве, но все же способных творить «живое искусство».

Столь же мало «революционным» оказался и Дион (если не ошибаюсь, псевдоним одного не-парижского писателя), повторивший в своей статье «Лошади едят сено» общие места об абсолютной ценности человеческой личности, — в чем его тоже не упрекнул бы ни один из «а-литературных редакторов», как называла их в «Опыте свободы» З. Гиппиус.

Тут, сама собой, в «Смотре» возникла разделяющая черта.

«Самое важное» большинства участников «Смотра» оказалось вне злобы дня.

Говорить с «гражданским пафосом» — «о Гитлере само собой разумеется, — как же сейчас без Гитлера! О большевизме... о священных правах индивидуума, о поэзии, как тихом убежище или боевом фронте, в зависимости от темперамента» (Г. Адамович — О «самом важном») — этим авторам показалось нецеломудренным, претенциозным.

На это едко намекнул Георгий Адамович в конце своей статьи: «... если во мне — в любом из нас — что-то еще теплится, я безотчетно задуваю огонек, едва беру перо в руки».

Г. Адамович подчеркнул расхождение между «мыслями» и «мыслями-чувствами», между исповедуемыми на словах «идеалами» и личным эгоизмом, безразличием: «... Потому нам и остается только бросать в океан бутылки и отделяться вздохами, что наше «самое главное» — лишь призрачно, обманчиво наше. Для публичных парадирований мы берем его напрокат, а дома сбрасываем маскарадный костюм и облачаемся в халат. В лучшем случае: это наши мысли, но это не наши мысли-чувства, — разница «дьявольская».

Сейчас, кажется мне, не так важны конкретные сюжеты каждой статьи, а самая «музыка» душ, то, что каждого из авторов наиболее задевало, тревожило.

В этом смысле все авторы, — совсем разные и непохожие друг на друга, связанны тем не менее каким-то общим внутренним говором и, если так можно выразиться, общим всем тогдашним «парижанам» недостатком — несовпадением между «мыслями» и поступками, между «идеологией» и волей для конкретных действий.

Поэтому, вероятно, абстрактные, отвлеченные вопросы или личные высказывания на тему о любви, о жизни и т. п. особенно их привлекали, — как раз в то время, когда, казалось, нужно было действовать, кричать на всех перекрестках, бороться за идею свободы гражданской.

Но, несмотря на такое отвлеченное, созерцательное настроение, эпохе неозвучное, «парижане», участвующие в «Смотре», возносят свои мысли над любой дня не только потому, что все они — неисправимые мечтатели, а потому, что в их ощущении никакая злоба дня не может стать «самым главным» для человека, стоящего перед вечными вопросами: о присутствии Христа в мире, о смерти, о внутренней свободе, о творчестве.

Необходимо отметить, что авторы, так или иначе касавшиеся вопроса о христианстве (В. Мамченко, Л. Кельберин и т. д.), подходят к нему совсем не так, как Мережковский и Гиппиус, для них человечность Христа и Его отношение к людям значительнее, чем «Тайна Трех», наступление «Третьего Завета» и эсхатология.

Невозможно было бы пытаться дать хотя бы общее представление о содержании каждой из десяти статей авторов «Смотре», такой пересказ равнялся бы насилию над ними.

Поэтому я остановлюсь только на «музыке душ», на трех наиболее типичных высказываниях поэтов — В. Мамченко, Ю. Мандельштама и Л. Червинской, связанных общей темой «о любви».

В. Мамченко задет равнодушием человечества к самому высшему и драгоценнейшему, что было в мировой истории — к явлению Христа.

Почему «они» «допустили» тогда, почему посейчас, все мы (не те, кто отрицают, а именно те, кто веруют) по существу так же покорны «злу и злым законам жизни», почему и мы предаем Его на каждом шагу?

«Чего стоит история, общество, знание и так называемая государственная культура, если ни одного живого вздоха не прибавляют они человеку, задыхаю-

щемуся в судорогах гибели? Если бы они были истинными — в них явлено было бы движение Любви; но движение это приходится искать далеко, в иных местах, местах прямо противоположных тем, какими гордится нынешний человек — устроитель нынешней жизни?.. Зло за зло: зло плюс зло, — зло. Но как убедительно внушает чудовище, что будет добро! — Где оно, добро? Когда? Завтра? Но ведь уже тысячелетия длится такое «завтра»... Лишь в движении Любви не так: там нет чудовищного страха — история Сына Божьего — Сына Человеческого — тому порукой».

Ю. Мандельштам говорит о земной любви, о бесконечном многообразии ее содержания, «о чем так значительно сказал Жак Шардонн: «Любовь — гораздо больше любви».

В этом высказывании тоже важны для нас не отдельные мысли, не цитаты, а общий «трепет», общая взволнованность души автора, сочетанье подъема, восторга, грусти и горечи.

— «Ах, это тот, кто выдумал эту глупую любовь!» — воскликнул уже безумный Гельдерлин, которому показали бюст Платона. И все же — сущность любви, всегда духовно-телесной, в своем пределе неизменно выходит за рамки телесности... От нас зависит сделать нашу любовь бессмертной. Эпиграфия Стендоля: «Анри Бейль. Жил, писал, любил» — наиболее достойный надгробный памятник».

Статья Лидии Червинской «В последнюю минуту» — о компромиссе совести и чувства в творческом плане, об «опыте свободы, сестры одиночества» — замечательна по тону и очень талантлива по форме.

С точки зрения чисто литературной, это, вероятно, лучшая вещь в сборнике, но начало литературное у Червинской находится в полном равновесии с ее личной «нотой».

«Но — искусство? Невозможное без вдохновения, «святое искусство»? Оно, прежде всего, серьезно — это искусство. Вдохновленное серьезностью, оно прислушивается, предчувствует, приближает тему каждого нового дня.

Настоящее искусство современно, и этим вечно.

Не такими ли сегодня кажутся строки:

«Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...»

Совесть тоже бывает гениальной...

Трудно сказать, в чем тема нашего дня. Но «тональность» его сурова.

А нежность? Она не исчезла из мира, но как влага испарилась с поверхности земли. Быть может, для того, чтобы пролиться когда-нибудь новым дождем»...

*

События в Европе шли своим путем — тучи сгущались все больше и больше, почти никто уже не сомневался, что дело кончится катастрофой.

Мережковский и Гиппиус с волнением всматривались в будущее.

Они хотели бы «отня Данте, гнева Мицкевича», появления поэта, который бы «глаголом жег»...

В последнем письме Зинаиды Гиппиус по поводу «Смотра», от 8 ноября 1938 года, звучит нота разочарования «нами» и даже некоторого недовольства:

«Сегодня я получила, наконец, известие, что наш первый «Опыт свободного слова» — реализуется. Подготовка его должна начаться немедленно. Т. к., во-первых, это должен быть опыт действительной свободы каждого, и, во-вторых, так как со дня возникновения мысли о подобной книге прошло много месяцев, чреватых всячими событиями, которые могли произвести у некоторых участников

перемещения центров их интереса, я и предлагаю, вам, например, вопрос: не желаете ли вы воспользоваться этим случаем полной независимости и печатной свободы, чтобы, оформив, уяснить себе и другим ваше отношение к тем или другим мировым событиям? Быть может, это вам хочется сделать более, чем что-либо другое сейчас?.. Все, однако, по вашему желанию. В этом тоже смысл «Смотра». Идеал его, как всякий идеал, недостижим. А был бы, конечно, если бы писатель, в том состоянии, о котором говорит Лермонтов, мог сказать:

Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум...

Оставив «идеалы», вернемся к маленькому, худенькому данному, чтобы хоть им удовлетвориться...»

*

«Смотр» вышел летом 1939 года, почти перед самой войной.

14 июня скончался Владислав Ходасевич — первая тяжелая утрата литературного тогдашнего Парижа.

Кажется успел появиться только один — плоско-глумливый отзыв о «Смотре», затем началась война, и следующий выпуск был отложен З. Гиппиус «на неопределенное время».
